

Итак, заканчивается **самойловский год**. Не только в прямом смысле: 85 лет со дня рождения, 15 — смерти. Даже не в том, что вслед двухтомнику «Поденных записей» вышло полное собрание поэм, хотя оно-то и наводит на эти мои размышления...



Станислав АССАДИН,
обозреватель «Новой»

В поэзии Самойлова сосуществуют, подчас противоборствуя, две стихии. Отчетливое пушкинианство («...Из поздней пушкинской плеяды... Мы, послушники ясновидца...») — и то, что я еще давно, при жизни Самойлова, назвал лирической эксцентрикой. Впрочем, имя Пушкина и здесь уместно. Андрей Немзер (его статья-комментарий к поэмному тому превосходна и тем, что, не в пример типовому литературоведению, исполнена волнения и страсти) говорит даже: «Под пером Самойлова «Граф Нулин» встретился с «Медным всадником» — хотя, по правде сказать, встречаются не всегда.

Признаюсь, «Снегопад» — поэма, пристрастно любимая самим поэтом, — по-моему, слишком явно зависима от узнаваемой интонации автора «Руслана» и «Онегина», и, напротив, именно лиризма недостает мне в эксцентрике некоторых иных вещей. Да бог с нею, с недостатком! Хуже, сдастся, что в поэме, например, «Канделябры» лиризм соперничает, словно бы спохватившись, неосновательно возникает в финальных строчках: «Жалко, жалко, чада Божьи, / Вас, бредущих по земле... / Надо плакать и молиться!..» — но о ком, скажите мне, плакать? Кого жалеть, если в поэме — те самые хулиганы, в кого, по словам самого Самойлова, переродились бывшие славнофилов? Их срам и содом, который как раз и дал повод сарказму, когда Кожин-Палиевский-Кузнец устроили в ЦДЛ антисемитский шабаш, благоназванный дискуссией «Классика и мы». Оттого и в «Канделябрах» — не более чем шуты гороховые: «Начал часто черт являться / Валентину Горобцу, / События он Валентина, / Перед ним жевал мацу». И т. п.

Стиль (и характер!) Самойлова образует как раз лирическая эксцентрика (эксцентрика, но лирическая), термин, которым не горжусь, полагаю его рабочим и понимая как испытание лирики — иронией, постоянным — переменным, пафоса — скепсисом.

Да, у Самойлова в его характернейших, самых «самойловских» вещах одно без другого и не существует, коли он сам сказал, что «искусство — смесь / Небес и балагана! / Высокая потреба / И скомороший гам!..».

Сказал устами легендарного скульптора Вита Ствоша, создателя гениального алтаря краковского костела Девы Марии, в поэме «Последние каникулы», загадочной, сложноструктурной и, к слову, моей любимейшей, самой «моей», не единожды вызывавшей счастливый трепет при домашнем авторском чтении и оставившей горькое сожаление: отчего Самойлов так ее и не закончил? Не оттого ли, что поэма была самой-самой и для него тоже — недаром Ствош, он же Фейт Штос, немецкий еврей, ушедший по окончании алтаря в Нюрнберг и стигнувший по дороге, здесь очевиднейший двойник автора? (Нелишне заметить, по семейной легенде — потомка французского или, не знаю, голландского еврея Фердинанда, будто бы пришедшего маркизанта с войском Наполеона и застрявшего в России. См. стихотворение «Маркитант».)

Вот он, Ствош, и выбран спутником на символическом пути в символический Нюрнберг, понимай: в поиске внутренней свободы — в частности, сколь это ни парадоксально, от самого искусства, которое, конечно, дает художнику свободу как выход из земной тесноты, но ведь и закабалит! «И отрекись навеки! / И больше не твори!.. / Я волен. Наконец-то / Я больше не артист».

В общем, «фантастическая хроника артистического бегства из реальности» (снова Немзер) — да, верно; но бегства и из самого по себе «артистизма». А мир «артиста» — ху-

...Быть может, в Нюрнберге / Мы встретимся потом».

Нюрнберг — это загробное существование. Или — несуществование? Вопрос, на который вот именно нет ответа, по крайней мере уверенно доказательного, отчего и старый Дон Жуан в одноименной поэме, являясь циническое бесстрашие и ни о чем не намереваясь жалеть, не удерживается, чтобы не спросить своего полужовешного, полукомического визитера, «старый череп Командора»: «...Что там — / За углом, за поворотом?..» И слышит: «Ты без времени и воли...».

Страшно! Немзер имеет резон заключить: «Нюрнберг — эквивалент Элизиума», «блаженной страны». Но в XX веке уже слабо верилось в бессмертие; во всяком случае, язычески буквальное, и хотя бы отчасти поэтом «Каникулы» все хотят и не могут завершить

Кстати, в «недостовверной повести» «Струфиан» ответы даны таки. И — на любой вкус!

Начиная с подчеркнутой — и тем контрастно готовящей иронический сюжетный зигзаг — исторической респектабельности: «настоящий» Таганрог декабря 1825 года, «настоящие» предатель Шервуд и барон Дибич, Александр I с его документально зафиксированным безволием перед заговором, о котором знает...

Словом, обезволенный царь — на сцене; деятели-декабристы — за нею. Есть и еще один персонаж, третья сила — «задумчивый казак» Федор Кузьмин, «уездный Сен-Симон» с трактатом «об исправлении империи Российской»: «На нас, как ядовитый чад, / Европа насылает ересь... / Дабы России не остаться / Без колеса и хомута, / Необходимо наше царство / В глухие увести мес-

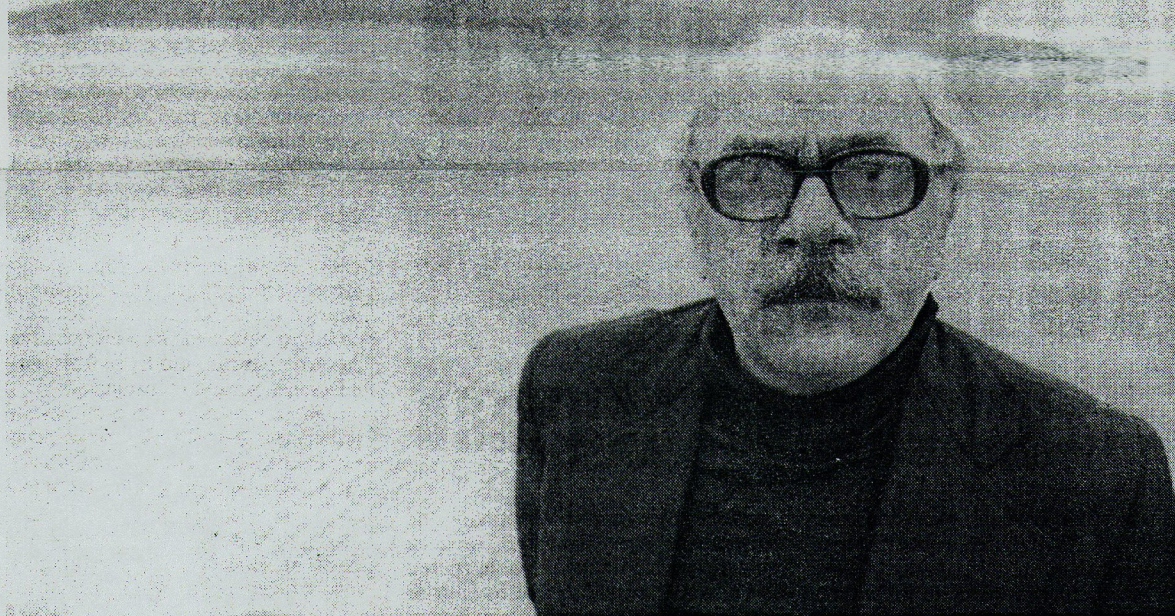
Так что ж, история самопроявления? Надеяться на участие в ней — безнадежное дело?

Но пессимистом — да и фаталистом — Самойлова назвать трудно.

Наше привычное отношение к истории — примерка или оглядка. Уж никак не отношение к простору, на коем случается непредсказуемое и необъяснимое, не годящееся для утилитарного воспроизведения. Как пример простейший и неотвратимый — вышло... Вернее, не вышло, но было задумано со сталинско-брежневско-путинским гимном, этим символом преемственности по-нашенски, то есть не целостной, а совершающей выборочный скачок через головы Горбачева и Ельцина. Как и с Петром I в качестве образца для президента (что, смею предположить, недостаточно осмысленно: главная заслуга

Звезда Давида

Заканчивается год Д. Самойлова, но его век в самом начале



Александр КНЯЗЕВ

«большевика на троне» — пресловутое окно в Европу, которое, едва открывшись при перестройке, ныне объявляется причиной вредоносных сквозняков).

От того, что для кого-то пример — Петр, для кого-то — Грозный, для кого-то — мифологизированный Столыпин, вред — истории, которая оплошится задним числом. И, что еще хуже, нам. Народонаселению.

На путающем пространстве XXI века нам в любом случае предстоит... Ну, не выбрать дорогу, она худо-бедно выбрана, и мечтать о России как о Евразии (Азиопе) можно, конечно; можно и делать усилия, дабы свернуть с дороги в Европу, в мир. И власть еще будет бездействовать, как Александр I, это в худшем случае; будет, что хуже, сопротивляться неотвратимости; и утопии родится пореакционнее, чем у Кузьмина. Но...

Самойлов не пессимист, как и не оптимист, хоть и был обвинен в последнем Владимиром Корниловым, из-за чего они и «разошлись» («Поденные записи», 1973: «Я: Тебя интересует деструкция жизни, а меня конструкция. Тебя — почему жить нельзя, а меня — почему можно». Он согласился). У него, повторюсь, открытое пространство, на котором личная безвыходность (царя Александра, умирающего Цыганова, несчастной жены Ганнибала...) не перестанет мучить, не станет ничтожно малым, но где, вопреки растреклятой нашей «ментальности», во многом выдуманной, чтобы оправдать историческое безволие, сделан выбор самой историей. Идущей «себе».

Самойлов не был ни диссидентом, ни более чем человеком общепринятого «убожества систем». Он был (точнее, стал) *внутренне свободным государственным человеком*.

Бывает, значит, и такое, на что, возможно, надежда России.

В этом смысле Самойлов — поэт XXI века. Именно он, а не чужим им Бродский. Тот, выбравший одиночество (или оно его выбрало — как форму независимости от всего, начиная властью и кончая читателем), надменно-самодостаточный, завершил собою минувшее столетие, заставив вспомнить Блока: «Двадцатый век. Еще бездомней...». Самойлов с его легким дыханием, с его «конструкцией» при жесткой трезвости «Струфиана» или «Последних каникул», с его выходом на простор истории, несродным герметичности Бродского, — вот он, настаивая, поэт...

Одно мешает закончить фразу, одно заставляет осесть: а сможет ли, захочет ли XXI век воспринять эту перспективу?

дожника — уникален, индивидуален, следовательно, одинок, отчего и свобода его — одинокая.

Потому в «Каникулах» будут тут же отсеяны, едва назовутся в качестве возможных соучастников победы, замысленной новейшим «усталым работом», реальные, бытовые знакомцы: «Пересветов» или «Л. Итанский», «Который был готов / Пойти со мной и с Витом, / Но был заведен бытом / И значит — не готов». Либо: «Кого б еще сманить? / Петра или Бориса? / Володю, может быть? / Но с ним мы разошлись». (То есть Петра Горелика, друга всей жизни, Слуцкого, Корнилова; что же до первых двух, то помню слышанный мною вариант, где Феликс Светов и Левитанский назывались впрямую.)

Остается — Ствош, а поскольку он двойник, альтер эго, то, выходит, путешествие совершается в одиночку?

Выходит так. Куда же идут (идет)? Да в смерть, каковая тут образ уж такой свободы, что дальше некуда. Не зря ж единственный, кто сгодился бы в спутники, друг погибший, чем и освободившийся от земных пут: «Один, Леон Тоом, / Пошел бы ты со мною... / Ты, сокрушитель стен, / Ниспровергатель окон, / Прозревший острым оком / Убожество систем! /

ся, конечный пункт по-прежнему недоступен: «Как далеко, однако, / Преславный Нюрнберг! / ...Как далеко, однако, / Преславный городок!.. / У знака: «К Нюрнбергу. / Две тысячи км»...

Незакрытый простор. И — открытый трагизм? Подумаем.

«Трагизм», «трагичность» — слова, которыми пользуются неразборчиво, думая этим польстить писателю, коему, дескать, доступна трагическая высота. Что до Самойлова, то он перед трагедией, в том числе несуществования, не то чтобы останавливается, но тормозит. Самой по себе, так сказать, безответностью. «И думал Цыганов: / «Зачем я жил? / Зачем я этой жизнью дорожил? / ...Зачем, когда так скоро песня спета? / Зачем?». / И он не находил ответа».

А поэма «Сон о Ганнибале», где изображена семейная драма пушкинского предка, чуть ли не родовый рок, не пошадивший и потомка, тоже закончится сомнением: «А может статься, вовсе я не прав / И случай этот был весьма банальный...» — простор для версий, как на пути в Нюрнберг! «Мне все равно». Что не авторское безволие-безразличие, а суть самойловского историзма...

Самойлов Давид